



Переступив порог комнаты, женщина замерла. Когда она смотрела с поста наблюдения из «предбанника», как называет это помещение персонал, через огромное стекло на длинную комнату реанимационной палаты, заставленную множеством разнообразной медицинской техники и рядом коек с лежащими на них пациентами, — была уверена, что там, за стеклом, царит особая скорбная тишина, в которой почти беззвучно двигаются медики в спецкостюмах и лишь изредка, совсем тихо, на грани слышимости, пискнет какой-нибудь монитор, передавая информацию о состоянии больного, подключенного к аппаратуре.

Здесь, по эту сторону, была жизнь, а там — там уже правила смерть. Так воспринимала и ощущала женщина разделение на «до» и «после», на «да» и робкое «возможно». И смерть представлялась ей царством тишины.

Но стоило ей оказаться по другую сторону стекла и шагнуть в палату, как на нее обрушилось целое звуковое море этого особого изолированного мирка: пищали на разные лады и щелкали всевозможные датчики, выводившие снимаемые с пациента показания на экраны мониторов; в больших стеклянных цилиндрах мерно вздымались и резко опускались черные мехи искусственного дыхания; что-то негромко монотонно гудело на одной ноте в углу комнаты и совсем не тихо разговаривали три медика

возле койки с одним из пациентов. И все эти звуки — громкие и чуть слышные, навязчивые и еле уловимые — сливались, перемешивались между собой, образовывая один тревожный, напряженный шумовой фон, и, как ни странно, порождали гораздо больше надежды на победу, на лучший исход, чем там, за стеклом, отсекавшим палату от здорового мира.

Бог знает, как так получилось и что вызвало в ней подобную ассоциацию, но эта звуковая какофония, пусть совсем негромкая, а не предупреждающие фанфары Рока, внезапно словно отрезвила ее, вдруг очень ясно высветив в уме все, что она уже сделала и еще намеревалась сделать и ради чего, собственно, и проникла в реанимационную ковидную палату. И в этот момент весь четкий, продуманный план неожиданно увиделся женщине не серьезной, рассчитанной до мелочей операцией, а совершенно нереальной, глупой и опасной аферой.

Она глубоко вздохнула, тряхнула головой, отделяясь от неуместного сейчас страха и непонятно откуда прилетевшего приступа рефлексии. Отступать поздно, да и глупо — она уже здесь. И, резко выдохнув, женщина двинулась к нужной ей койке.

Как и все пациенты в этой палате, мужчина был подключен к аппарату искусственного дыхания, облеплен клеммами различных датчиков, с иглой от системы капельного дозирования, введенной в вену на сгибе левой руки. Но он находился в сознании. Женщина точно знала, чувствовала, что он в сознании, просто глаз не открывает, предпочитая пассивной безысходности большинства лежащих на соседних койках пациентов сражение с дикой слабостью, немощью и болью в темноте одиночества.

Выглядел он ужасно, словно смерть уже наложила на него лапу, объявив своей добычей, высосав все жизненные

соки, обескровив кожу, превратив ее в болезненно-пергаментную, синюшно-желтоватого цвета. Глаза глубоко ввалились в потемневшие, почти черные глазницы, скулы и нос заострились...

И этот болезненный образ умирающего, этот измученный, смертельный облик был настолько неправдоподобно и страшно далек от него настоящего, от его мощной телом, волей и духом личности, от матерого, нестигаемого человека, которым он являлся всегда, при любых, даже самых смертельных обстоятельствах, что она невольно, словно сбегая и не желая запоминать его таким, торопливо перевела взгляд с его лица.

Даже в состоянии тяжелейшего истощения и предсмертной немощи его грудная клетка и разворот плеч оставались все такими же мощными, богатырскими, но выпирающие ребра и ключицы, утратив былой мышечный каркас, были обтянуты все той же пергаментно-желтушной кожей. Женщина смотрела на эту иссушенную смертельной болезнью, покрытую редкими седыми волосами грудь большого, сильного, еще совсем недавно могучего человека и чувствовала, как, вопреки всем ее попыткам сдерживать эмоции, в груди тугим комком, перекрывая дыхание, скапливаются горячие, больные и злые слезы.

Она ненавидела его. Ненавидела многие годы. И... не боялась, нет — опасалась, всегда находясь настороже. Как любой нормальный человек опасался бы мнимого дружелюбия дикого зверя, с которым ему приходится контактировать. Даже вот такого — беспомощного, уходящего — опасалась...

Сколько раз, справляясь с приступами обиды и ненависти к этому человеку, принуждая себя искренне улыбаться, держать спину и не выказывать своих истинных чувств, она мысленно представляла себе картины его

смерти — пугающие, но яркие, сладко будоражащие, как лучшее выдержанное вино. Поминутно, шаг за шагом, она прокручивала, словно детективный фильм, как подмешивает в его еду снотворное и, дождавшись, когда он уснет, душит это животное подушкой, как подсыпает яд в его любимый сбитень, а потом с наслаждением наблюдает, как он корчится в муках, умирая у нее на глазах. Непременным и обязательным в этих приятных короткометражках ее кровожадного воображения был тот момент, когда он за минуту до смерти понимал, осознавал, что это именно она его убила.

Такие кровожадные картины мести посещали женщину много лет назад, в первые годы их знакомства, и давно уже отпустили ее, как и чувство жгучей обиды и ненависти. И все же добра этому человеку она не желала.

Но даже ему, человеку-проклятию всей ее жизни, она не пожелала бы такой боли и столь страшной, столь некрасиво-беспомощной, мучительной смерти от непреодолимого удушья, которая уже практически неотвратимо забирала его прямо сейчас.

Женщина снова тряхнула головой, освобождаясь от нахлынувшей минутной слабости, достала из кармана ватный тампон и склянку со спиртом. Неловкими от надетых на руки перчаток пальцами отвинтила крышечку, щедро смочила тампон. Придвинулась поближе к койке, наклонилась и, вытащив из-под простыни, развернула поудобней к себе кисть его правой руки и принялась старательно протирать большой палец ватным тампоном.

И вдруг замерла, безошибочно почувствовав, что он смотрит на нее.

Она всегда чувствовала его взгляд, физически чувствовала — всегда! Что-то делалось с ней, когда он вот так пристально буравил ее взглядом, что-то там думая про себя,

прокручивая в голове. Даже если она не могла в тот момент видеть его глаз, даже находясь от него на большом расстоянии, — она точно определяла, знала, что сейчас он смотрит на нее, и чувствовала, как тяжелые, свинцовые ледяные шарики несутся по столбу ее позвоночника от затылка до копчика, скатываясь внезапной тяжестью в пятки.

Она медленно подняла голову... и встретилась глазами с немигающим взглядом его серо-стальных, холодных глаз, смотревших на нее в упор поверх гофры трубок от аппарата искусственного дыхания и плотно прижатой к лицу маски, удерживавшей их.

Он не мог ее узнать. В этом чумном медицинском костюме, в затянутом по всем правилам капюшоне, прилегающем к коже и от того деформирующем лицо, в широкой маске и медицинских очках, искажающих облик любого человека, надевшего их.

И, чтобы отделаться от морока, опутавшего ее, заставившего замереть, словно муха в янтаре, женщина медленно вдохнула, мысленно дважды повторив очевидный факт своей достаточной маскировки...

...выдохнула и распрямилась.

Понятное дело, что говорить он не мог. И шевелиться не мог, наверное, он и думать-то мог с большим трудом, если вообще мог, но все смотрел и смотрел пристально на нее... И она поняла, что каким-то непостижимым, необъяснимым образом он все-таки ее узнал!

И что-то вдруг переменялось в женщине, как отпустило, словно сбылась та ее давняя, почти детская мечта, столько лет защищавшая от ярости и ненависти, когда она представляла себе, как за минуту до смерти он понимает, что это она его убила.

Неспешно, наполняя каждое движение глубоким символическим смыслом и значимостью, так, чтобы он ви-

дел, что именно она делает, женщина достала из другого кармана небольшую металлическую коробочку, открыла, взяла его за тот самый большой палец, что протирала спиртом, и старательно вдавила подушечкой в находившийся в коробочке специальный пластилин для снятия слепков.

Вдавливала, держала и смотрела торжествующе ему в глаза.

А мужчина, верно поняв и правильно истолковав все ее действия, вдруг подмигнул ей заговорщицки и улыбнулся — так светло, так...

Конечно, он не мог улыбаться губами, не мог изобразить эту странную, совершенно невозможную для него улыбку мимикой измученного, исхудавшего лица, но он улыбался глазами, будто признавался в любви, подбадривал и радовался ее решимости.

Словно обжегшись об этот его поразительный взгляд, женщина резко откинула мужскую руку на белую простыню, прикрывавшую его тело, захлопнула коробочку и убрала в карман.

— Сукин ты сын, Владимир Артемович, — не смогла удержаться от горького высказывания она. — Вот сукин ты сын!

А он все смотрел на нее, и что-то необъяснимое плескалось в этом его взгляде, уже потустороннее, нездешнее...

Женщина наклонилась к нему, придвинулась как можно ближе, насколько позволяли трубки и провода, к его уху губами, спрятанными за слоями маски, и прошептала:

— Сволочь ты, бессердечная, гадкая, злая сволочь, Владимир Артемович.

Замолчала, чуть отстранилась, всматриваясь в его лицо: слышит ли, понимает, что она говорит?

Он слышал, и понимал, и продолжал улыбаться — так небывало для него, невозможно открыто, светло и так по-человечески...

— Ненавидела тебя все эти годы, с той первой минуты, когда встретила, — сказала она, уже не отпуская этого его странного взгляда-улыбки.

Предательская слеза, внезапно вырвавшись из не дающего продохнуть комка в горле, пробившись сквозь все бастионы и преграды, что она старательно выстроила, покатила по ее щеке.

— Но кое за что я тебе благодарна, — призналась она. — Пожалуй, что и за многое. И поставлю тебе свечку. Сейчас за здоровье, ну а вдруг поможет... а потом, когда...

И пожелала, искренне, от сердца, отпустив на свободу и вторую слезу:

— Иди с миром, Владимир Артемович.

Взгляд его сделался вдруг строгим, и мужчина глазами указал на аппаратуру, а потом быстро перевел глаза, в которых на сей раз плескалась четкая просьба-указание, обратно на нее.

— Нет. — Проследив за этим его указующим взглядом, женщина покрутила головой, отказывая ему в последней просьбе, прекрасно поняв, о чем он просит. — Я не стану тебе помогать в таком деле. Это ты уж сам с Богом разбирайся, Владимир Артемович, за что и сколько он тебе страданий отмерит. Лишь одним могу помочь: зла на тебя держать не буду и постараюсь простить.

И, резко оборвав их странный разговор, распрямилась. — Прощай.

Она пожала безвольную кисть его руки, лежавшей поверх простыни, ярко-белого полотна, которое будто подчеркивало неотвратимость смерти, царившей здесь.



И ушла. Не обернувшись, не посмотрев больше на мужчину, провожавшего ее взглядом до тех пор, пока за ней не закрылась дверь реанимационной палаты.

Высоко подняв голову, выпрямив спину струной, она шла по коридору к санпропускнику и не видела ничего вокруг от заливавших и душивших ее слез, рванувших из всех глубин, из всех накопленных обид, из...

Долгие годы она ненавидела этого человека и желала ему смерти, желала страшных потерь и мучений. Ненавидела, опасалась... и уважала.

И восхищалась порой, и еще что-то... что-то еще...

Переезд!

Нет, не железнодорожный ни разу!

А самый что ни на есть банальный, житейски-бытовой, то бишь с одного места жительства на другое. Новое.

Из дома, в котором провел годы, десятилетия, в котором прошло твое детство-отрочество, которое, как гриб, всеми своими грибницами проросло воспоминаниями, эмоциями, чувственным опытом, горестями-радостями, достижениями-победами, поражениями-преодолениями и триумфами. Где все твое — понятное, привычное, родное, на обычных и правильных местах... И вдруг, в один момент, сломать все устои, правила и привычки этого дома — и уезжать! Да ладно бы уезжать — *не-ре-ез-жать!* Насовсем!

Ребята, это засада! Это такая жесь!

Кто проходил — тот знает, понимает! Зашибись себе «удовольствие».

Но возражать маме, если та возбудилась очередной своей грандиозной идеей, все за всех уже решив, и приступила к ее воплощению, — сродни тому, как застрять в поломанном хлипеньком «жигуленке», заглохнувшем

окончательно и бесповоротно аккуратно на том самом железнодорожном переезде, перед несущимся на него литерным поездом. Результат приблизительно одинаковый: сметет на фиг по ходу своего движения, не заметив-проигнорировав любые возражения и вполне себе обоснованные и весомые аргументы против очередной ее задумки. Да, пожалуй, что сметет любого человека, вставшего на ее пути. Ну, за ре-е-е-дким исключением.

Работу, занятость и личные дела выбранных для воплощения ее задумки участников Эмма Валентиновна не принимала в расчет, как и их возражения. Легко и непринужденно, с присущим ей умением напрочь игнорировать проблемы и дела других людей, требовала: извернись, изловчись, сделай все, что от тебя хотят, — и свободен, можешь спокойно работать себе дальше. Видишь, все очень просто: чем быстрее исполнишь то, чего требуют и ждут от тебя, тем быстрее вернешься к своим делам, как служебным, так и личным.

Женщина-гаран, что совершенно не сочеталось с ее внешней физической хрупкостью, женственностью и старательно наигранной нежностью.

Происходило это обычно так: Эмму Валентиновну озаряла Идея, как правило, Грандиозная (а другие ее не посещали — не мамин формат). Она сразу же придумывала и решала, как воплотить и кого привлечь для быстрого исполнения этой Идеищи, и-и-и-и... выпускала на свободу цунами реализации своего очередного «великого плана» — совершенно разрушительное по мощи. И «хоть таской, хоть лаской», уговорами, угрозами и увещанием, а порой и откровенным шантажом, — но добивалась, что те, кто не успел вовремя увернуться и спрятаться, ворча, ругаясь на все лады и постанывая, таки принимались воплощать эту, будь она неладна, Идею в жизнь.

Алиса, вроде бы давно научившаяся благополучно уклоняться от большинства маминых идей-заданий, а порой даже противостоять особенно крутым ее наездам и остужать чрезмерный энтузиазм родительницы, на сей раз дала-таки втянуть себя в очередную мамину аферу, поскольку большой мамин План затрагивал интересы самой Алисы. В давно уже привычной форме полного игнорирования и ущемления тех самых интересов дочери — Эмма Валентиновна надумала кардинально решить квартирный вопрос.

Другое дело — ради чего, как и какими средствами она намеревалась его решить, и с какими потерями для вовлеченной в воплощение этого Плана родни.

Эмму Валентиновну посетила гениальная, как водится, мысль, что ее обожаемому сыночку Никиточке срочно, прямо вот сейчас, немедленно и безотлагательно требуется свое отдельное жилье!

— Мальчик поступил в такой вуз! — объясняла она придуманную ею необходимость Великого переезда, собрав ближайшую родню за круглым (во всех смыслах: и по форме и по переговорному предназначению) столом. — Ему требуется постоянно учиться, плотно общаться с сокурсниками и взрослеть, мужать, становиться самостоятельным! Конечно, он не может жить далеко от вуза, не в спальнике же каком-нибудь, чтобы добираться неизвестно сколько до учебы, а ночью темной обратно. Это недопустимо! Мы будем искать квартиру рядом с училищем.

Мальчику было семнадцать лет, и поступил он не абы куда, а в Шукинское театральное училище. На минуточку, расположенное в историческом центре города Москвы. В самом что ни на есть историческом.

Историчнее некуда.

И как бы приобрести жилье рядом с этим училищем для простых, в принципе, незатейливых москвичей, ну пусть даже затейливых и не так чтобы совсем уж простых-простых, но с весьма скромными доходами...

Ну, все поняли. Максимум на что хватило бы средств семейства в большой складчине-обдираловке всех имеющихся «сусеков» и заначек «чернодневных» — так это на три доски от строительных лесов с реставрации особняка на Арбате. Зато на три очень большие и крепкие доски и в том самом центре города, аккуратно возле училища имени великого артиста.

Но у Эммы Валентиновны был же таки План! А то!

По которому сдвигались с места жизни Тектонические Плиты — то есть выкорчевывались из своего дома бабушка с дедом, до этой минуты бывшие неприкосновенными во всех предыдущих затеях Эммы. Их квартира, в которой, между прочим, вместе с патриархами проживала еще и Алиса, по задумке мамы, удачно продавалась, а старики перевозили жить к дочери...

— Тем более что меня первое время и дома-то почти не будет, — выкладывала родне свои продуманные аргументы Эмма Валентиновна. — Надо же будет устроить на новом месте Никиту и первое время присмотреть за ним, наладить быт...

Понятно: «взрослеть, мужать и становиться самостоятельным» сыночку светит не скоро, уж точно не в ближайшие год-полтора. Впрочем, Никита уникальный мальчишка — вон сидит, уткнувшись в телефон, с кем-то скорострельно переписывается, и такое впечатление, что ему все по барабану, глубоко пофиг и вообще его ничего не парит. Но на самом деле мальчик все сечет, все слышит и «участвует» в разговоре, только весьма своеобразно — не вступая непосредственно в обсуждения и дебаты.